

Николай Васильевич Гоголь

Отрывки (Другие редакции)

Содержание

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ МАЛОРОССИЙСКОЙ ПОВЕСТИ	
«СТРАШНЫЙ КАБАН»	0004
I. УЧИТЕЛЬ	0004
II. УСПЕХ ПОСОЛЬСТВА	0018
ГЕТЬМАН	0030
<I> <НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ>	0030
НОЧИ НА ВИЛЛЕ	0075
#1	0075
НОЧЬ 8	0078
ВАРИАНТЫ	0080
ГЕТЬМАН	0080
НОЧИ НА ВИЛЛЕ	0100
КОММЕНТАРИИ	0103
СТРАШНЫЙ КАБАН	0103
ГЕТЬМАН	0105
НОЧИ НА ВИЛЛЕ	0119

Николай Васильевич Гоголь

ОТРЫВКИ

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ МАЛОРОССИЙСКОЙ ПОВЕСТИ «СТРАШНЫЙ КАБАН»

I. УЧИТЕЛЬ

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было, что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для

него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинута и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже, верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряднение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые с значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем. Один только мирошник, [Мельник. (Прим. Гоголя.)] Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачива-

ется, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрюк. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело, что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливица, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья, как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого, колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, убоявшихся бездны премудрости, которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Ма-

лороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. — Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы не весть куда, вероятно, еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе — ему наконец не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на ваканцию [Эти слова в украинских семинариях значат; пойти в домашние учителя. (Прим. Гоголя.)]

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заместило, наконец, какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появ-

лялся, бывало, в праздник в своем светлосинем сюртуке, — заметьте: в светлосинем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю на доумить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой бакши, [Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п. (Прим. Гоголя.)] так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: ця-

ця, цяця! [Хорошо! Хорошо! (Прим. Гоголя.)] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением, почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но всё это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготавливал

лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внука Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прял.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом, и цветом, совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba gabaubarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и

она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внука забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко, едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он Аз — ангел, архангел, Буки — бог, божество, богородица, — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владелица поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных вре-

мен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темнокофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII-е столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку, как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Всё время от пяти часов утра до шести вечера, то есть, до времени успокоения, было непрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчи-

ком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, заворачивала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать, и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосход-

ной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначающий каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пиллад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекар-

ственной настойки на буквицу и herba gaba-barum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сарай, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освобождаясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листьям ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались

они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом, окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простиительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик

и, несмотря на то, что не дошел еще до философии, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды... Номо proponit, deus disponit говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

II. УСПЕХ ПОСОЛЬСТВА

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы).

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель!» повторял он несколько раз сам себе: «ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосный лай прорезал облакавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее итти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как

сквозь транспарант, светилось всё недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя заплата, огненная лента... Сердце в нем вспрыгнуло... и белокурая красавица, разгоняя хвостистой докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собою большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовою дверью, с низеньким из глины фундаментом (присъбою), обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены бы-

ли по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполтину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью: «Батька нет дома, да вряд ли и к вечеру будет».

«Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься! Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?»

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал: «Нелегкая понесла бы меня к батьке, когда есть такая хорошенькая дочка».

«А, вот что!» проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. «Милости просим!» и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша, без ведома отца, принимала у себя гостя. «Ты пешком сюда пришел, Онисько?» спросила она его, садясь на присьбе у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

«Как пешком? — Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» подумал кухмистер. — «Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Чорт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского гнедого, чтобы только перетащить из одного двора в другой.»

«Однакож от кухни до коморы не так-то далеко.»

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к чорту, позабыв и приязнь, и дружбу их.

«Однакож, моя красавица, я бы согласился,

чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными опенками, лишь бы только ты еще раз этак засмеялась.»

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

«Вот этого-то я уж и не люблю!» вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. «Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пущу тебе в голову вот этот горшок.»

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «я не в состоянии буду этого сделать.»

«Полно же, полно! не возом зацепил тебя. Есть из чего сердиться! как будто, бог знает, какая беда — обнять красную девушку.»

«Смотри, Онисько: я не сержусь», сказала она, сядясь немного от него подальше и приняв снова веселый вид. «Да что ты, слышалось мне, упомянул про учителя?»

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного. «Учитель... Иван Осипович, то есть... Тьфу, дьявольщина!

у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель... вот что я тебе скажу, сердце! Иван Осипович вклепался [То есть, влюбился. (Прим. Гоголя.)] в тебя так, что... ну, словом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую пани купила у жида и которая околела после запала. Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.»

«Хорошую же ты выбрал себе должность!» прервала Катерина с некоторою досадой. «Разве ты ему сват, или родич какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по-миру выпрашивать под окнами для них милостины.»

«Да это всё так; однакож я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться...»

«Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку! Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже

наиглупейший изо всего села. Слава богу, я еще не ослепла; слава богу, я еще при своем уме... Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, думал... Нет, ты недобрый человек!»

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щечке, будто падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Чорт побери всех на свете учителей!» думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

«Убей меня гром на этом самом месте!» вскричал он наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее: «если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помои.»

«Нашел, чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села го-

ворят то же.»

«Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело, что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол побери их вместе с учителем. Я бы отдал штоф лучшей третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастливая доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом...»

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у

него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длиною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю пании. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Всё гулял, да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе, и на сердце было весело? Напьешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою, и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?»

«Не стану, мое серденько! не стану; пусть ему всякая всячина! Всё для тебя готов сделать.»

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать

ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харь-ка.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный го-лос страшнее грома поразил слух разнежив-шихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом уви-дел стоявшую на плетне Симонику.

«Славно! славно! Ай да ребята! У нас по се-лу еще и не знают, как парни целуются с дев-ками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет поговорка: в тихом омуте черти во-дятся. Так вот что деется! так вот какие шаш-ни!..»

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

«Типун бы тебе под язык, старая ведьма!» проговорил кухмистер: «тебе какое дело?»

«Мне какое дело?» продолжала неутоми-мая шинкарка: «вот прекрасно! Парни изво-лят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов, — и мне

нет дела! Изволят женихаться, целуются, — и мне нет дела! Ты слышал ли, Карпо?» вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батогом, впереди так же медленно выступавшей коровы: «слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка...»

«Тьфу, дьявол!» вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. «Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, Яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.»

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однакож, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно

только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

«Нет, господин учитель!» твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая под голову свою куртку: «не видать вам Катерины, как ушей своих!» И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.

ГЕТЬМАН

<I> <НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ>

<ГЛАВА 1>

Был апрель 1645 года, время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творения; самая нежная зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мохом церковь будто обновилась; вокруг ее, как рой пчел, толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно; но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину XVII-го столетия. Мужествен-

ные, худощавые, с резкими чертами, лъца и бритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, атлетическая сила, при каждом почти заткнутый за пояс пистолет и сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. Благоговейное чувство обнимало зрителя. Всё здесь собравшееся было характер и воля; но и то, и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими почти целою головою; какой-то крепкий, смелый оклад, какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было всё заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на

него, вся масса двинулась из храма, для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского правительства, откуп, и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная, что это так; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, он так изумился, как будто бы это была новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о своих делах; но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице, рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился; все спокойно вошли в церковь, при пении: «Христос воскрес из мертвых!» Между тем совер-

шенно наступило утро. Выстрелы из пистолетов и мушкетов потрясали деревянные стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхе, у девушек при целовании с козаками, <у тех> при попойке, как вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед разрушившеюся церковью собрались в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего, как лунь, козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось двое, стоявших около него; к ним пристали еще, и наконец целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого роста, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь? У вас, видно, нет ни на волос божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут, чорт знает, что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откуда оно взялось и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он

хочет, чтобы слушались. Но это каждый только думал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только, не отходя, и как скоро оправился от первого страха незванною помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах? Ступай же, тебе говорю, поганая жидовина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид расстлался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени, возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк, с глупо-дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство, терем-те-те? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве? Что вы? Что тут драка? Порвал бы вас собака!..» Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих

наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старику козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый хлоп, вздумал? Что ты начал драку? Басе мазенята, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подошвы?.. Чорт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него еломец краше, чем ваша хлопска вяра...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клоч серебряных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

«Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уже им потерял. Сто лет, а может и больше, тому назад, меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои... Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..» При сих словах двадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистоле-

ты, но вид стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение модельщиков и креститься.

«Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Что<бы> я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговется. Вишь, гунство проклятое!» говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. «Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик... порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..» Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во всё горло. В это время пасхи были освящены, и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгиазила.

«Славный у тебя ус, пан!» проговорил он,

подступив к нему близко.

«Хороший! У тебя, холопа, не будет такого», произнес он, расправляя его рукою. «Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить!» Мощный козак дернул сильною рукою так, что половина уса осталась у него. Старый волокита закричал и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы. «Рубите его, рубите, лайдака!» кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака, и увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил...

«Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого». Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак <2 нрзб> отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, поседе-

шим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб. «Добродию! ведь я вас знаю». «Может быть, и правда». «Ей-богу, знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу, знаю! Чи вы Острица, чи вы Омельченко?» «Может, и он». «Ну, так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, то Острица. Ей-ей, Острица. Да, может быть, и нет. Может быть и не Острица. Нет, Острица. Ей, тебе так показалось! Ну, как нет? Острица да и Острица. Как только послушал голос, ну, тогда и рукою махнул. Вот так, точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на том свете! — так же разумно, бывало, каждое слово отметит».

Острица внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Нос, загнувшись вниз, придавал ему несколько горбатое сложение и неподвижность членам; но зато узенькие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей,

которые, верно, придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то протодушное и веселое в губах, не давали ему противного выражения. Под кобеняком, наде-тым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел и день был жарок.

«Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что́, добродию, — не во гнев будь сказано, — прошу извинить, только хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что́ Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-ни-будь доедает козацки косточки?»

«Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана, а Кузубия гуляет с рыбами на дне Сиваша и тянет гнилую воду вместо горелки... Но... ну, после об этом поговорим. Я тебя тоже узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос воскрес!»

«Воистину воскрес!», говорил, целуясь, Пудько: «Как на то, и крашанки нет. Жинка давала, побоялся взять: народу такое множе-ство... передавил бы на кисель. Так, добро-дию, как будто сердце знало...»

«Ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?»

«А что ж делать? Нужно торговать. Еще слава богу, что продал табак. Прошлого году отец с полвоза накупил кремней, дробы, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии относится. Напросился на дороге жидок один. „Свези, человек, на Хыякивску ярмарку, — дам три рубля!“ Свез его как доброго, и надул проклятый жидок, ей-богу, надул! Хоть бы четвертку горелки дал, гаспид лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота. Кобылу взяли под верх вербуна. Теперь у меня только и конины, что Гнедко», примолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Острианица поворотил коня ехать. «Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: „А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!“ — всё бы продал, и жинку, и детей бы покинул, пошел бы в компанейство.» При этом Пудько выпрямился и поскакал за Острианицею, который пришпорил сильнее коня своего. «Скажите, добродию, пане сотнику», говорил он, поровнявшись с ним: «может, вы теперь уже и не сотник, в другой роте какой значитесь? Скажите, до какой это поры

дожили, что уже и храмы божиее взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снести всякому христианину, что горелка находится у врагов христианства? А теперь и храмы божиее! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул? А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, подумаешь, пропадает козачества! Вы слышите, как постукивают хлопцы из мушкетов, что земля дрожит? Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там разговееусь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.» В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Острианица, взглянувши,

тотчас увидел причину: на шесте был повешен, вверх ногами, жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Острица ужаснулся, увидев это. «Нужно поспешить», говорил он, пришпорив коня. «Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. — Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народ! Разве этак по-козацки делается?» произнес он, возвыся голос. «Что смотреть его!» слышался говор между молодежью: «В другой раз хочет у нас вытащить из рук.» «Послушайте, у кого есть свой разум.» «Он правду говорит», говорило несколько умеренных. «Молоды вы еще; я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех, то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда ж три на одного нападут, то все не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется; для святого праздника не скажу страмного слова. Как же хотите, теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы», продол-

жал Острица, заметив внимание: «как назвать тех?..» «А чем назвать его?» заговорили многие вполголоса: «Что ж есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать? мы не знаем.» «Э, не к тому речь, паноча, своротил», произнесло в голос несколько парубков: «Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?» «Глупы вы еще: не велик, видно, ус у вас», продолжал Острица. При этом многие ухватились за усы и стали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. «Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово божье. Верно, он был придурковат, а может быть и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. „Крепко бьется проклятая дубина“, сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. „Постой же ты!“ сказал дьяк, да и вырубил дубину, толщиною в оглоблю, и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват: дубина разве?» «Нет, нет», кричала толпа: «тут виноват, виноват король!..» — —

Радуюсь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Острица выехал из местечка и пришпорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Острица выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Острицы он всё это пересказывал своему Гнедку... «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось всё наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы

не улизнул на Запорожье. А правда, не важно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко! Он зато враг Христов, нашего бога святого.» Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его рассказами, <конь> развесил уши и начал ступать уже шагом. «Оно не так далеко и хутор, а всё лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а <меня> сивухою потчивают. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что бог повелел <говорить> только человеку, да еще одной маленькой пташке...»

При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать по-

прежнему... Но, вместо того, чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Острице, давно скакавшему по проселочной дороге.

<ГЛАВА 2>

Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках,

иногда дуб толстый, которому сто лет, и весь убранный павиликой, плющом, величаво расширял свою <верхушку?> над ними, и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противоположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цветы свои, между тем как из деревьев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколистственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глуд, оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высывала из <чащи?> часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже до-

рога становилась шире, и наконец открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестела прерванная нить реки и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поглаживать по лбу. Долго стоял он в таком положении, наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, светлица. Очертяная ее крыша, местами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебророзовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стара-

ясь итти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.

«Дома пан?» спросил путешественник.

«Дома», отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.

«А пани?» «И пани дома». «А панночка?» Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

«И панночка дома».

«Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и золотый».

«Дай!» говорила простодушно девочка, протягивая руку.

«Дам, только пойдй наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?» «Скажу». «Как же ты скажешь ей?» «Не знаю». Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькну-

ла между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцать стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных <членов> не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках, спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.

«Откудова ты, человек добрый?» спросила

она, увидев козака.

«А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Острианицы».

Девушка вспыхнула. «А ты видел его?» «Видел. Слушай...» «Нет, говори по правде! Еще раз: видел?» «Видел». «Забожись!» «Ей-богу!» «Ну, теперь я верю», повторила она, немного успокоившись. «Где ж ты его видел? Что, он не позабыл меня?» «Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..» Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова. «Как ты сюда прилетел?» говорила она шопотом: «Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины». «Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?»

«Люблю», отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо. «Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе: убежим отсюда!»

Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию, или хоть к султану; и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и проживем так же хорошо, еще лучше, чем тут на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем, — сукон, епанечек, чего захочешь только». «Нет, нет, козак», говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице: «Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? „Глядите, люди“, скажет она: „как бросила меня родная дочка моя!“» Слезы покатались по ее щекам.

«Мы не надолго ее оставим», говорил Острица: «только год один пробудем на Перекопе или на Запорожьи, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой».

Галя качала головою всё с тою же грустью и слезами на глазах.

«Тогда мы оба станем присматривать за

матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь, — тогда и не то будет со мною».

«Нет, полно. Ты не то, ты — козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня — и всё мне» (при этом она махнула грациозно рукой) «трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У бога не вымолишь, чтоб переменял долю... Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: „Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне всё снится, то, что она замуж выходит, то, что рядят ее в богатое платье, но всё с черными пятнами.“»

«Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня», говорил Острица, поворотив голову на сторону.

«Я не люблю тебя? Гляди: я как хмелинонька около дуба, вьюсь к тебе», говорила она, об-

вивая его руками: «Я без тебя не живу.»

«Может быть, вместо меня, какой-нибудь другой с шпорами, с золотой кистью?.. что доброго, может быть и лях?»

«Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе! Зачем ты укоряешь меня так?» сказала она, почти упав на колени и в слезах.

«О, ваш род таков», продолжал всё так же Острианица. «Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле...»

«Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?»

«Едешь со мною или нет?»

«Еду, еду!»

«Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка!» говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. «Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя... За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?»

«Он спал в саду под грушею. Теперь, я слы-

шу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее, и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит.» При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу... Острица медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как <бы> желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

<ГЛАВА 3>

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только заметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш верно бы досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою ру-

кою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда братья рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. «Кто такой?..» Наконец ворота отворились. Острица въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откуда взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог открыть это? Если бы, точно, узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром по-

спеть в его хутор? Всё это повергло его в такое недоумение, что <он> не знал, на что решиться: ехать ли опроретью назад, или остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. «Но пойдете, добродию, в светлицу: здесь не в обычае говорить, и слишком многолюдно», отвечал последний. В сеньях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцем в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать: «Чего вас чорт носит сюда? Всё только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили!» «Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш.» Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула: «Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменялся весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.» Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что

лай собак, который было начал стихать, удвоился. «Сумасшедшая баба!» говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. «Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь». «Довольно, Горпина», прервал Острица. «Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?» «Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, всё не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!» И старуха принялась рыдать.

«Слушай, Горпино!» сказал Острица, заметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. «Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай святой пасхи потому, что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего, и даже не попробовал пасхи.»

«Да ты ж вот ото и пасхи не отвеживал, бедная моя головонька! Несчастливая горемыка я на этом свете! Охо, хо!» Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, <ключница?> снова была готова завывать, если б не увидела над со-

бою замахнувшейся руки запорожца.

«Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота господу богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был или бои знает, что ему тогда было...»

Острианица вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины всё то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но,

однакож, поправками, приделками ветхое строение простояло около 50 лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческого лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет деда Острицы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парюю <пистолетов>, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и всё мягкое, ка-

залось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с боченком водки, с надписью: «Козак, душа правдивая, сорочки не мае», которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними на длинной деревянной доске нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты... Острианица между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла ста-

рая ключница с пасхой, с сметаной, сыром... «Вот тебе, паночиньку мой, и розговены! Вот тебе и сметанка!» говорила <она>. «Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному... А вот господь сподобил, опять вижу тебя! Охо, хо, хо!» Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил: «Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..» Это остановило намерение Горпины... «Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..»

«Еще и христосоваться!» проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пути Горпинину ногу. «Пошла, проклятая баба!»

«Ступай, Горпино! полно тебе!» проговорил, поднявшись, Острица: «А не то я, несмотря на то, что ты стара и что няньчила меня, сниму со стены вот этот батог; видишь

ты этот батог?» Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась. «Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?» «А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь». «Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душной хате, а на вольной земле, под небом». Запорожец натянул на себя кобеньяк и пошел вслед за Острианицею из светлицы, в которой чуть было не упал, зацепившись за что-то, лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся в кожух туловище. Острианица узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противоположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У

меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!» и тому подобное. Острианица попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову боченок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли, как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую музыку. Скоро все уснули.

<ГЛАВА 4>

Однакож Острианица. долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убежал его, а думы незванные приходили и силою ложились в его мозгу. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот — всё по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет!

Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. — «Нет, я хочу», говорил он, разбрасывая руками: «чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнёт мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям... И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония... а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела». Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь жизнь героя. «И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери! Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И

странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь — сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие призрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однакож я был весел душой; ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину, сирота-сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однакож, хотя грустная, а всё-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину — и всё позабыл, всё к чорту. Ох, очи, черные очи! Захотел бог

погубить людей за беззаконья, и послал вас. Собиралось компанейство отметить за ругательства над христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке. Еще бы можно было поправить; вражья потеря верно б была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво — любовь! Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и всё бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Вер-

но, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что... Как же придумать?.. Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Острицу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда... бог знает, что тогда будет! Только всё лучше, я буду близь нее жить...» Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Острица; уже он обнимал в мыслях и свою Галю; вместе уже воображал себя с нею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае... Но настоящее опять вторгалось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеньяк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

<ГЛАВА 5>

Как только проснулся Острица, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбаракы, женские парчевые кораблики, белые намитки, синие кунтуши; одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или

блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа <он> должен был перецеловаться и принять невероятное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили крестьяне своему господину, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, <то> против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сделали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь послушаться власти атамана, который наконец гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенания при каждом ударе. Атаман

приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына. «Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется? А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так...» Тут атаман, наконец, увидев, что молодой преступник, несмотря на всё старание устоять на месте, готов был закричать, остановился. «Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!» Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги. «Говори, любезный: благодарю, атаман, за науку!» «Благодарю, атаман, за науку». «Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!»

«Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще

не христосовались». «Воистину воскрес!» отвечал атаман.

«Нет ли у тебя в запасе губки? Охота забирает люльку затянуть». При этом <Острица> вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

«Как не быть! Это занятие, когда материя не клеится».

«Я хотел сказать тебе дело», примолвил Острица с некоторою робостью.

«Гм!» отвечал атаман, вырубивая огонь.

«Мое дело не клеится».

«Не клеится?» промолвил <атаман>, раскуривая трубку: «погано!»

«Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь».

«Не достанется?.. Погано!»

«Придется нам возвратиться ни с чем».

«Гм!..»

«Что ж ты скажешь?» спросил Острица, удивленный таким неудовлетворительным ответом.

«Когда воротиться», отвечал запорожец, сплевывая: «так и воротиться».

Острицу ободрило такое равнодушие. —

«Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву».

«Гм!» отвечал атаман.

«Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!» При этом слове грянула музыка, и, вместе с нею, грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навпри-сядку.

<ГЛАВА 6>

«**Ч**то он себе думает, этот дурень Остраница?» говорил старый Пудько. «Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень!» говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. «Молод козак, ус еще не прошибся!» Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется с старшими. «Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я

позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко!» Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг <поражал>. Нужно было взглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, всё в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однакож, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастье, необитаемое на земле? И всё прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное повиновение.

НОЧИ НА ВИЛЛЕ

Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святиню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, смотреть на него. Уже две ночи как мы говорили друг другу: ты. Как ближе после этого он стал ко мне! Он сидел всё тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какою радостью, с каким бы веселием я принял бы на себя его болезнь, и если бы моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какою готовностью я бы кинулся тогда к ней.

Я не был у него эту ночь. Я решился, наконец, заснуть ее у себя. О, как пошла, как подла была эта ночь вместе с моим презренным сном! Я дурно спал ее, несмотря на то, что всю неделю проводил ночи без сна. Меня терзали мысли о нем. Мне он представлялся молящий, упрекающий. Я видел его глазами души. Я поспешил на другой день поутру и шел к нему как преступник. Он увидел меня лежащий в постеле. Он усмехнулся тем же смехом

ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно: «Изменник!» сказал он мне. «Ты изменил мне.» — «Ангел мой!» сказал я ему. «Прости меня. Я страдал сам твоим страданием, я терзался эту ночь. Не спокойствие был мой отдых, прости меня!» Кроткий! Он пожал мою руку! Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моею глупо проведенною ночью. — «Голова моя тяжела», сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра. — «Ах, как свежо и хорошо!» говорил он. Его слова были тогда, что́ они были! Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных этих, подлых этих, гадких благ, нет! о них не стоит говорить. Ты, кому попадутся, если только попадутся, в руки эти нестройные слабые строки, бледные выражения моих чувств, ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебе. Ты поймешь, как гадка вся грудa сокровищей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какою бы злостью растоптал и подавил всё, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что

за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его.

— «Что ты приготовил для меня такой дурной май!» сказал он мне проснувшись, сидя в креслах, услышав шумевший за стеклами окон ветер, срывавший благовония с цвевших диких жасминов и белых акаций и клубивший их вместе с листками роз.

В 10 часов я сошел к нему. Я его оставил за 3 часа до этого времени, чтобы отдохнуть немного и чтобы доставить какое-нибудь разнообразие, чтобы мой приход потом был ему приятнее. Я сошел к нему в 10 часов. Он уже более часу сидел один. Гости бывшие у него давно ушли. Он сидел один, томление скуки выразалось на лице его. Он меня увидел. Слегка махнул рукой. — «Спаситель ты мой!» — сказал он мне. Они еще донныне раздаются в ушах моих, эти слова. «Ангел ты мой! ты скучал?» — «О, как скучал!» отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он всё еще жал мою руку.

НОЧЬ 8

Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и то же свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постеле. Душинька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сертук, медленное движение шагов его... Всё это я вижу, всё это передо мною. Он сказал мне на ухо прислонившись к плечу и взглянув на постель: «Теперь я пропавший человек.» — «Мы всего только полчаса останемся в постеле», сказал я ему. «Потом перейдем вновь в твои кресла.»

Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет! Во всё то время, как ты спал или только дремал на постеле и в креслах, я следил твои движения и твои мгновенья, прикованный непостижимою к тебе силою.

Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего. Но, мне кажется, трудно дать идею о ней: ко мне возвратился летучий свежий отрывок

моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на жертвования, часто даже вовсе ненужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие — увы! жители невозвратимого мира — все эти чувства возвратились ко мне. Боже! Зачем? Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться на веки и [Не дописано.]

ВАРИАНТЫ

ГЕТЬМАН

<I> НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ

[Текст, изданный Трушковским, — Тр; текст, изданный Кулишем, — К; приписки, изданные Тихонравовым, — Т.]

Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе.

Т — дрогнули скулы. Правительство, — или, лучше сказать, деспотические магнаты мимо правительства, — с народом, имевшим [с страной, имевшею] собственные постановления, поступало безрассудно. Но величайшая ошибка [Но величайшие заблуждения] его состояла в том, что <оно> решилось унижать веру соплеменного народа, который оказывал почти изумительную покорность при этой ширине разгульной жизни, но который, вместе с тем, будучи доведен до крайности,

мог показать весь вихорь самых сильных и порывных страстей. [Далее начато: Не употребляй] Не одевая своей власти нетерпимостью, Польша в соединении этой земли воинственных козаков[Не дописано.]. Это постановление...

После того толкнул он его, и жид расстлался на земле, как лягушка. Тр;

К — разостлался

Что ты начал драку? ред.;

Тр, К — Что ты драку начал, драку?

Басе мазенята, гунство! ред.;

Тр, К — Пасе мазепято

Боже ты мой! ред.;

Тр, К — Боже-то мой!

В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались ~ рука красавицы, ствола. Т;

Тр, К — нет

Здесь было изумительное разнообразие: листья ~ более, а терновник и дикий глode, оградивши их колючею стеною, скрывал ~ красавицы, ствола.

терновник и дикий глode задвин<увши?>

Шелковая плахта и кашемировая запаска ~ молодые перси.

Т — Одежда ее была так фантастически пестра, что, казалось, она принесла [она на-несла] с собою кучу самых разнообразных цветов, которые, казалось, шевелились и волновались между деревьями по мере того, как она шла. Самая яркая шелковая плахта, почти скрытая под кашемировою с турецким узором запаскою, сладострастно льнула и выначала всю роскошную выпуклую <форму> выступавшей ноги. Только до пояса простиралась вся эта пестрота богатого убора; на груди и на руках трепетала белая, как снег, сорочка, как будто ничто, кроме тонкого чистого [ничто нейдет так, как белое] полотна, не должно прикрывать девических персей. Складки сорочки падали каскадом — молодые груди дрожали. [падали каскадом на упругодышавшие молодые груди] Нигде так не хороши девические груди [перси] как под полотном. Он видел, как молодые груди [как упругие молодые груди] подымали свои дышавшие негою куполоподобные перси [куполообразные вершины] и тотчас [и ежеминутно] опускали их, после чего они упруго дрожали под своим покровом.

«Зачем ты укоряешь меня так?» сказала она, почти упав на колени и в слезах. ред.;

Тр, К — упав на коленях

«Что делает отец твой?» ред.;

Тр, К — Что делает отец твой? Отец твой?

«Кто такой?..» Наконец ворота отворились.

Тр, К — Низенькие, решетчатые ворота отворились.

Очень замечательная достопамятность ~ общежительность. Т;

Тр, К — нет

<II> КРОВАВЫЙ БАНДУРИСТ

] По «Арабескам» (Ар) и авторской корректуре (АК).]

К удивлению немногих жителей, успешных проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило ~ тишиною.

АК — [Одно уже] появление

Ар — одно уже появление

К удивлению немногих жителей, успешных ~ предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною.

Ар — буйства и грабительств

Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ~ прихожанам.

Ар — почернелыми

Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь ~ вызубренный карниз, покрытый ~ карнизе.

Ар — нет

«Изыдите, нечистые! кромешники!» произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель: «во имя отца и сына и святого духа, изыди, диаволе!»

Ар — изыди, диавол

«Але то еще и брешет, поганый собака!»

Ар — поганый

«Зачем вы пришли смущать православную церковь?» произнес настоятель.

Ар — нет

«Дай нам ключи от монастырских погребов!»

Ар — Давай нам ключи

«Але ты хочешь, басамазенята, поговори з моим конем: нех тебе отвечает из под...»

Ар — А если ты хочешь

«Але ты хочешь, басамазенята, поговори з моим конем: нех тебе отвечает из под...»

Ар — нет

Ребята хотят пить.

Ар — хотят пить

«Я тебе говорю, же ты, глупой поп, сена, стойла ~ сапогом до морды».

Ар — если ты

«Я тебе говорю, же ты, глупой поп, сена, стойла ~ лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды».

Ар — их в костел ваш поставлю

Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником.

Ар — Он отворотился от него и

В молчании шел начальствовавший отрядом, и ~ кружком, бросал в лицо ему какое-то ~ всех.

АК — [бросил] в лицо ему

Одни только грубо закругленные оконечности лица его ~ водка; что рай там, где всё дребезжит и валится от пьяной руки.

Ар — блаженство там, где всё дребезжит

«А ну!» сказал он, мигнувши бровью на дверь, и от брови, казалось, пахнул ветер.

Ар — от его волосистой брови

Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна.

Ар — не без труда отваливали

Боже! какое обиталище открылось глазам!

Ар — какое ужасное обиталище

Там царствует в оцепенелом величии
смерть, распутившая свои костистые члены
под всеми цветущими городами, под ~ миром.

Ар — под всеми цветущими весями и городами

Это была четырехугольная, без всякого
другого выхода, пещера.

АК — это была почти четырехугольная

Целые лоскутья паутины висели толстыми
клоками с земляного свода, служившего по-
толкам.

Ар — темными клоками

Сова или летучая мышь была бы здесь кра-
савицею.

Ар — Сова или летучая мышь были бы
здесь красавицами.

«Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в ка-
шу!

Ар — нет

Один из коронных вздумал было засмеять-
ся на это, но смех его так страшно, беззвучно
~ испугался.

Ар — страшно-беззвучно

Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на середину и ~ пещеру.

Ар — толкнут на середину

Пленник, который стоял ~ только, как застыла за ним дверь и ~ пещеру.

Ар — захрипела за ним дверь

Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а ~ был.»

Ар — захлопнула крышка гроба

«Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком ~ был.»

Ар — и стук показался

После первого ужаса он предался ~ о нем, и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее.

Ар — но вместо

Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел.

Ар — рисует и представляет цветы

Эти разноцветные узоры принимали ~ необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого.

Ар — рассматриваем в микроскопе

Между тем отряд коронных войск ~ пировал от радости, что наконец схватил того, кто им был нужен!

Ар — радуясь

«Попался, псяюха!»:

а. Попала

б. Попался АК

«Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?»

АК — твою рожу

Жолнеры принялись, разорвали верхнюю эпанчу тонкого черного сукна, которою ~ покрыва.

АК — разорвали верхний кобеняк

Але как ты смела?..

а. как ты терем-те-те баса мазенята! смела обмануть

б. как в тексте АК

«Мне нужно знать, где он?» Губы несчастной пошевелились ~ «Не говори, Галюночка!»

АК — «Мне нужно знать, где он?» «О, не говори! Не говори!» простонал неизъяснимо ужасный голос из одного угла пещеры. Губы несчастной пошевелились...

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей ~ должны были вытерпеть адские мучения!

АК — вытерпеть страшные мучения

Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу, с несовсем оглохлыми чувствами, не достало бы сил выслушать этот звук.

АК — самые стены темницы. Для сердца, в котором бы даже закалились чувства

Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями.

АК — Страшно видеть хрипение

Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями.

АК — повержена сила, сердце

Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями.

АК — может перенести

Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ~ жалости.

АК — Когда слышится стон

Когда же врывается в слух ~ силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

АК — нет сердца, которого бы не уязвила хотя несколько

«Говори, я тебя!.. поганая лайдачка!..» произнес воевода, которому ~ рюмкою водки.

АК — Говори терем-те-те

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался ~ произнес: «Не говори, Ганулечка!»

АК — голос довольно явственно

Но только что он произнес эти слова, как ~ явственно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»

АК — раздался и произнес снова медленно: «Не говори!»

<III> ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА.

] Варианты из «Сев. Цветов» за 1831 г.]

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне пирятинский повет от лубенского.

границу разграничивающую

Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная, по мнению его, самая ближайшая.

какая-нибудь особенная

Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов.

ввалиться в лес или на безлюдное поле, чтобы заставить странствующего рыцаря не разбирать

Главное же неудобство ~ должен был, на расстоянии 25 или 50 ружейных выстрелов, выведывать ~ разногласили.

на расстоянии 50 или 100

Пустив повода и наклонив голову, всадник ~ его думы, которые снова обычным ожерельем низались в голове его.

думы разноцветным ожерельем

Мысленно досадовал он на себя, что не выведать ~ посольства.

досадовал путешественник

Живописные облака, обхваченные ~ разрываясь, летели по воздуху.

облака, разрываясь, будто, чудные тени волшебного фонаря летели

По черным бровям серебрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и ~ простодушие.

из больших карих глаз

«Помогай, боже!»

Помогай боже, земляк

Надобно знать, что козаки наши ~ в гости.

Знаете, козаки

Спохватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов.

Ну, спохватились

Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

сами, добродию, бывали

«Как не знать этой старой собаки!»

Как не знать этой старой собаки, которая ни себе, ни другим добра на полшеляга не сделает.

«Что вы говорите, добродию! Разве ~ осторожнее в словах.»

Понимаю! где уже нам, темным людям, разжевать как следует!

Он во всё это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь ~ батогом и потягивая коротенькую люльку.

Гость ~ ехал

«Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво?»

про такое диво

Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса ~ удержать что-то похожее на жизнь.

ть, одну только тень жизни из челюстей разрушения

Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво.

То еще не диво

Воевода ли он был, сотник ли какой, или просто пан, этого я не умею сказать; знаю ~ веры.

не могу

Воевода ли он был, сотник ли какой, или ~ и не нашей веры.

не нашей православной веры

Жил он, как все нечистые польские паны ~
дрожь крещеного человека, когда он слышал
раздававшиеся из лесу крики.

христианина

Хлопцы из дворни его то и дело что наезд-
ничали по хуторам да обирали бедных жите-
лей.

по окрестностям

Стали обворовывать да обдирать божьи
церкви, и такое ~ сотни, да и на каждого бер-
дыши, самопалы и вся сбруя ратная.

так что христианам приходилось жутко.
Что станешь делать! их горсть, а дворни-то,
может быть, с полторы сотни

Если бы теперь не ночь и не засыпало ли-
сьем, то я, может статья, показал бы вам
останки этого дьявольского гнезда.

да не засыпано

Если бы теперь не ночь и не засыпало ли-
сьем, то я, может статья, показал бы вам
останки этого дьявольского гнезда.

остатки

Дьякон шел уже ~ толкнулся в ворота, за-
пертые толпившимся народом.

У дьякона вещее застучало, как на заре дя-

тел. Скрепившись, сколько доставало духу, толкнулся он

Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло по-па?»

Едва только увидели дьякона, так и закаркали

Дьякон, исполнившись, видно, святого духа, начал ~ воле, а подгоняемые горячими вилами чертей.

понуждаемые

«А, так ты еще и проповедь читаешь!»

ты еще и проповедь читать

Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос, а чтоб не застудил горла, накиньте ему галстук на шею!

чтоб не простудил

«Что за нечистый!» подумал пан: «отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви ~ до него.

Дрожь проняла его, метнулся как полоумный с постели, смотрит

«Что же далее случилось?» спросил он умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

умолкнувшего

Круто пришлось пану: распустил ~ чудо.

Жизнь не в жизнь стала пану

Лапчинский увидел, действительно, перед собою ~ отворить ворота.

Тут принялся он стучать в низенькие ворота.

Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений.

и, казалось, давал знать, что и его голос участвует в общей разноголосице

На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на ~ свойства.

близ ружья

На стене висели: серп, сабля, ружье, которого ~ отложенный для подчинки, секира, турецкий ~ свойства.

для починки

А ты, плакса, долго будешь реветь?

Э — э! да ты долго у меня будешь реветь, негодный плакса?

«Тебя-таки, земляк, бог наделил детьми?»

сказал гость наш своему хозяину.

обратился гость наш с вопросом к своему хлопотливому хозяину

Два уже поженились на ~ не родится, кроме полыни и бурьяну.

кроме волчца и бурьяну

Услышал, что еду на ярмарку. «Возьми и меня, тату!»

еду на ярмарку так возьми

<IV> <МНЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ПОЛКОВНИКА>

Трубка давно у него была в зубах. «На что тебе полковник?»

Трубка ~ в зубах, но он еще не набивал ее, рассматривая ее с чувством человека, в первый раз увидевшего эту диковину. «На что тебе полковник?»

«На что тебе полковник?» При этом <он> взглянул на просителя.

«На что тебе полковник?» поглядел

Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет 16, уже с мужественными чертами лица, воспитанного ~ шароварах.

с довольно мужественными чертами

Молодой человек ударил поклон в самую

землю ~ козацкие войска.

Молодой человек повалился

Молодой человек ударил поклон ~ в землю с тем безграничным повиновением, которое ~ козацкие войска.

а. с тем деспотизмом

б. с тем безграничным повиновением, [Далее начато: представлялись совершенно] которым так отличались козацкие войска

Ему, казалось на вид, было лет 50.

С виду

Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу.

рубец придавал какое-то

Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы.

Ку<ча?> пистолетов

Да смотрите оба, что<бы> всё было как следует; а то ~ коне.

как следует не так, как

Да смотрите оба, что<бы> всё ~ видел, как козак кланялся что-<то> слишком часто <на> коне.

козак приклонялся

Да смотрите оба, что<бы> всё было как следует; а то я вам скажу, вчера я видел, как козак кланялся что-<то> слишком часто <на> коне.

<на> коне. Смотрите <1 нрзб.>

«Тебе полковника?» говорил полунасмешливым ~ отрока, в темном длинном кунтуше.

В темном длинном кунтуше придавав<шем>

«Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю.»

я уже устал

«Нельзя, пан полковник теперь спит.»

полковник спит

«Лжет он. Я не сплю», слышался голос из ставки.

Лжет он пан полковник не спит

НОЧИ НА ВИЛЛЕ

[Варианты из автографа Института Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР.]

Я видел его глазами души.

глазами души моей

Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моею глупо проведенною ночью.

вознагражден ~ за мою глупую

Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищ и почестей, эта ~ людьми.

Ты поймешь, когда

О, как бы тогда весело, с какою бы злостью ~ знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его.

это будет ценою его <усмешки>

«Что ты приготовил для меня такой дурной май!» сказал ~ окон ветер, срывавший благовония ~ роз.

ветер, отр<ывавший>

Я его оставил за 3 часа ~ чтобы доставить какое-нибудь разнообразие, чтобы ~ приятнее.

приготовить ему какое-нибудь разнообразие

Он всё ещё жал мою руку.

Он всё ещё жал мою руку. Я весь день был

Но, мне кажется, трудно дать идею о ней:
ко мне возвратился летучий свежий отрывок
моего ~ ненужные.

ко мне возвратились вр<емена?>

Но, мне кажется, трудно дать идею о ней:
ко мне ~ времени, когда молодая душа ищет ~
ненужные.

юношеск<ая> душа

Но, мне кажется, трудно дать ~ юноше-
ской, полной милых, почти младенческих ме-
лочей и ~ ненужные.

а. любезных милых ~ мелочей

Но, мне кажется, трудно дать ~ и когда
весь готов на жертвования, часто даже во-
все ненужные.

когда даже ищешь почти ненужных по-
жертвований

Затем ли пахнуло на меня ~ разом я погру-
зился ещё в большую ~ жизнь.

я кинул<ся?>

Затем ли пахнуло на меня ~ ещё в боль-

шую мертвящую остылость чувств, чтобы ~
жизнь.

в бóльшую ветхость жизни

Затем ли пахнуло на меня ~ мертвящую
остылость чувств, чтобы ~ жизнь. ред.;

в рукописи — остылось

КОММЕНТАРИИ

СТРАШНЫЙ КАБАН

При жизни Гоголя отрывок напечатан единственный раз — в «Литературной Газете» 1831 г.: глава 1-я «Учитель» — в № 1, от 1 января стр. 1–4, за подписью П. Глечик; глава 2-я — «Успех посольства» — в № 17, от 22 марта, стр. 133–135, без подписи. Рукопись повести не сохранилась. Первый отрывок предполагался ко включению в «Арабески» и фигурирует в обоих сохранившихся планах; [См. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, Лгр., 1936, стр. 5, 22; Соч., 10 изд., V, стр. 558.] однако, в печатный текст «Арабесок» не вошел.

О замысле повести, равно как и о времени ее написания, а также о том, была ли она закончена, не сохранилось никаких известий. В. И. Шенрок предполагает — не приводя никаких доказательств, — что повесть писалась еще в Нежине (Соч., 10 изд., т VII, стр. 952). С большим правом можно отнести этот замы-

сел к 1830 году, когда осуществлялись уже «Вечера на хуторе близ Диканьки» и намечалась, параллельно фантастическому характеру большинства повестей, также вторая линия интересов Гоголя — комическое бытописание на основе современного украинского материала. Впоследствии эта линия нашла свое выражение в повестях «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Коляска».

По-видимому, замысел «Страшного кабака» не был доведен до конца: Гоголь, занятый работой над «Вечерами», отошел от мысли о большой бытовой повести, и ее материал растворился в отдельных повестях и рассказах «Вечеров». Так, объяснение кухмистра Ониська с красавицей Катериной почти дословно повторено в объяснениях кузнеца Вакулы с Оксаною («Ночь перед Рождеством»); Симониха является прототипом Хиври в «Сорочинской ярмарке», образ семинариста Ивана Осиповича отчасти повторен в долговязом поповиче Афанасии Ивановиче («Сорочин-

ская ярмарка»).

ГЕТЬМАН

I. ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Замысел исторического романа «Гетьман» мы связываем со следующими текстами, которые самим Гоголем объединены не были.

1. «Несколько глав из неоконченной повести», найденные в посмертных бумагах Гоголя и опубликованные Н. П. Трушковским в издании 1855 г. (т. V, стр. 367–411). Н. П. Трушковский сообщал: «Этот черновой отрывок сохранился в числе бумаг, оставленных Гоголем у В. А. Жуковского, и доставлен нам его супругою. Текст его был разбираем многими, но, несмотря на все старания, некоторые слова остались не разобраны, — добавленные же нами, как необходимые для полноты смысла, поставлены в скобках» (т. V, стр. 367). Эта текстологическая работа, произведенная в основном О. М. Бодянским, не могла быть проверена последующими редакторами, так как самая рукопись была затем утрачена. Есть основание предполагать, что рукопись эта, как и другие черновые рукописи Гоголя, содержала

много описок, неувязок, недосказанностей и т. п. В главе VI, напр., прозвище старого Пудька оказывается Кузубия, хотя, при первом своем свидании с Остриницею в главе I, сам же он спрашивает: «И Кузубия потонул?» В разговоре с Галей Остриница спрашивает: «Что делает отец твой? Отец твой?» — очевидная фиксация обычной у Гоголя описки, повторения отдельных слов и словосочетаний. Необходимые редакторские конъектуры отсутствуют в ряде случаев; встречаются и явно неверно прочитанные слова и т. д. Н. С. Тихонов обнаружил (на листах, вырезанных из тетради РМ4) несколько приписок, несомненно относящихся к тексту «нескольких глав» (Соч., 10 изд., V, стр. 550–551), однако привел их лишь в примечаниях, хотя точная локализация большей их части в тексте указана им же и не вызывает возражений. Эти приписки частично включены нами в текст «Нескольких глав», частично приведены в разделе Вариантов.

2. «Кровавый бандурист. Глава из романа». — Предназначалась для помещения в «Библиотеке для Чтения» (1834, II, отд. I) с под-

писью «Гоголь» и датой 1832 г., но была запрещена цензурой. Начало главы под заглавием: «Пленник. Отрывок из исторического романа» — было затем напечатано во второй части «Арабесок», с измененной датой: 1830. [По первоначальному плану «Арабесок», в них должен был войти «Кровавый бандурист» целиком (см. публикацию в сборнике «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I. Лгр., 1936, стр. 5) и лишь впоследствии был заменен «Отрывком из романа», т. е. «Пленником» (см. план «Арабесок» в рукописи РМ4; Соч., 10 изд., V, стр. 358).] Запрещенное окончание впервые опубликовано (по сохранившейся в цензурном деле, ныне — в ЛОЦИА, авторской корректуре) в «Ниве» (1917, № 1, стр. 3–6), а вся глава в первоначальном виде — в книге «Литературный Музеум» (Пгр., 1921, стр. 27–39).

3. «Глава из исторического романа» — напечатана впервые в «Северных Цветах» на 1831 г., стр. 226–256 (цензурное разрешение 18 декабря 1830 г.), с подписью «ОООО»; отсюда включена с рядом вариантов в первую часть «Арабесок» стр. 41–64; дата — 1830. В «Арабесках» же автором сделано примечание: «Из ро-

мана под заглавием „Гетьман“; первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании».

4. «Мне нужно видеть полковника» — отрывок (в двух вариантах), находящийся в РЛ1, л. 6—6об.; см. Соч., 10 изд., V, стр. 99—100, 554—555.

Все четыре описанные отрывка печатаются в данном издании полностью, в порядке перечисления: 1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый, с приведением вариантов ко 2-му из «Пленника» и к 3-му из «Северных Цветов».

II.

Ни в рукописях самого Гоголя, ни в переписке его, ни в воспоминаниях современников мы не найдем каких-либо определенных и достоверных сведений о работе над «Гетьманом». Единственным авторским свидетельством об этом замысле является приведенное выше подстрочное примечание в «Арабесках». Решение вопроса о датировке отрывков, т. е. о времени работы Гоголя над его историческим романом, наталкивается на

ряд трудностей. Как указано выше, сам Гоголь датировал «Главу из исторического романа» и «Пленника» 1830-м годом. Между тем «Кровавый бандурист», частью которого является «Пленник», имеет дату 1832 г. С другой стороны, посылая матери «Северные Цветы» с «Главой из исторического романа», Гоголь замечал (в письме от 21 августа 1831 г.), что «книжка вам будет приятна, потому что в ней вы найдете мою статью, которую я писал, бывши еще в Нежинской гимназии». Продолжение этой цитаты — «как она попала сюда, я никак не могу понять» и т. д. — наводит на мысль о мистификации со стороны Гоголя, тем более вероятной, что Гоголь нередко датировал только что написанное произведение более ранним временем.

Рукопись «Нескольких глав», как сказано, не сохранилась; текст ее по свидетельству П. А. Кулиша, был вырезан из записной книги Гоголя РМ4, где она, судя по следам вырезанных страниц (между стр. 172-ой и 173-й), перемежала собой наброски первой редакции «Портрета». Это дает право согласиться с Тихонравовым, датировавшим их 1831–1832 гг.

(Соч., 10 изд., V, стр. 549). К 1832 же году можно отнести и набросок «Мне нужно видеть полковника», находящийся в РЛ1 рядом с набросками «Носа» и «Рудокопова». Сводя воедино все эти разрозненные даты, мы можем заключить о работе Гоголя над замыслом «Гетьмана» в течение 1830–1832 гг.; к этой работе можем мы отнести и отдельные намеки на какое-то крупное художественное произведение, обдумывавшееся и даже оформлявшееся Гоголем в это время (ср. заявление в предисловии ко второй части «Вечеров на хуторе близь Диканьки»: «Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал»).

К сожалению, сохранившиеся отрывки «Гетьмана» не дают возможности целиком расшифровать авторский замысел. Сравнительно просто дело обстоит лишь с «Кровавым бандуристом» («Пленником»), который, очевидно, продолжает собою линию действия, намеченную в «Нескольких главах»;

оба отрывка легко объединяются единым сюжетом о борьбе казаков с Польшею и о походе Степана Остраницы, которого некоторые исторические источники называли гетманом.

Что касается «Главы из исторического романа» и отрывка «Мне нужно видеть полковника», то их отношение к замыслу «Гетьман» остается неясным. Возможно, что «Главу» следует рассматривать как один из подготовительных этюдов к «Гетьману». Отрывок же «Мне нужно видеть полковника» можно осмыслить, предположивши в «отроке, почти юноше», стремящемся попасть к полковнику, переодетую Галю, возлюбленную Остраницы, которую он в «Нескольких главах» зовет с собою в поход и которая затем в «Кровавом бандуристе», действительно, оказывается переодетой в мужской костюм — пленником, захваченным поляками и обреченным на пытки. В таком случае, набросок этот объяснял бы, каким образом Галя попала в Польшу после предшествовавших отказов следовать за возлюбленным. Никаких документальных подтверждений этому предположению мы, однако, привести не можем я потому, выска-

зывая его здесь, самый набросок печатаем после всех отрывков, а не перед «Кровавым бандуристом», как следовало бы при таком его осмыслении.

Выше уже упоминалось о цензурном запрещении «Кровавого бандуриста». В заседании С.-Петербургского цензурного комитета 27 февраля 1834 г. было заслушано «мнение» цензора А. В. Никитенко, усматривавшего в «Кровавом бандуристе» «картину страданий и уничижения человеческого, написанную совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительную, возбуждающую не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение». Комитет, согласившись с мнением цензора, определил: «удержать статью сию при делах и о запрещении оной уведомить прочие ценсурные комитеты».

III.

Неоконченный роман Гоголя «Гетьман» был первым его опытом исторического повествования из эпохи, привлекавшей его творческое внимание с первых шагов литературной деятельности вплоть до 1842 г., — именно из эпохи героической борьбы украин-

ского народа с польскими захватчиками за национальную независимость.

Приступая к работе над «Гетьманом», Гоголь не располагал сколько-нибудь значительными познаниями в области истории Украины. Поэтому ранний отрывок «Гетьмана» — т. е. «Глава из исторического романа» — характеризуется скудостью собственно исторических деталей: интерес ее для самого автора сосредоточивается на фигуре полковника Глечика. Фигура второго действующего лица отрывка, шляхтича Лапчинского, равно как и хронология событий, остаются непоказанными, неосвещенными.

Возобновив работу над романом, Гоголь уже стал придерживаться определенных хронологических рамок (середины XVII столетия), даже определенных исторических событий; основным героем романа становится историческая личность — нежинский полковник Степан Острица. В своем изложении автор стремится возможно ближе держаться определенных исторических источников. Из этих источников наиболее существенным, если не единственным, определяющим весь но-

вый замысел романа, становится «История Русов», в которой об Острице и его походе на Польшу рассказывалось под 1638 годом, сообщалось о победе над поляками при реке Старице, об осаде замка в Полонном, где укрылся от казаков Лянскоронский, о подписании там мирного договора, вероломно нарушенного затем Лянскоронским, о захвате Острицы в Каневском монастыре и, наконец, о его казни в Варшаве.

С «Историей Русов» Гоголь познакомился, по-видимому, в 1831 году, возможно через А. С. Пушкина, который имел у себя экземпляр этого любопытного рукописного памятника, обнаруженного в самом конце 20-х годов и позднее получившего значительное распространение в списках.

Кроме «Истории Русов», мы не встретим в «Гетьмане» следов исторических исследований Гоголя; отсюда — ограниченность и даже скудость исторических и историко-бытовых деталей. Позднее, в «Тарасе Бульбе», писатель восполняет эти пробелы широким использованием фольклорного материала.

Несомненно фольклорную основу имеет и

рассказ полковника Глечика в «Главе из исторического романа» о заклятой сосне. Вероятно, в данном случае Гоголь обработал слышанные им в детстве и искаженные памятью легенды о проклятом дереве, о кающемся грешнике и т. д. Сосна, на которой был повешен дьякон, соответствует осине легенд; мотив о покаянии пана имеет ряд аналогий в рассказе о покаянии разбойника, восходящих, как указано А. Н. Веселовским («Разыскания в области русского духовного стиха», ч. X; ср. также Н. Ф. Сумцов, «Очерк истории южнорусских апокрифических сказаний и песен», Киев, 1881), к апокрифам о крестном дереве.

Восходит к фольклорной основе и мотив девушки-воина, девушки, переодевающейся в мужское платье для того, чтобы следовать за возлюбленным на войну, мотив, впрочем, широко распространенный и в литературном преломлении.

К фольклорным впечатлениям Гоголя до некоторой степени должна быть отнесена, наконец, и типология «Гетьмана» — образы казаков, поляков и евреев. Источники этих

впечатлений весьма разнообразны: здесь могла быть и случайно виденная в детстве картина, — одна из тех, которые упоминаются в «Гетьмане», — и читанные в разное время старинные вирши или документы, из которых кое-что занесено Гоголем в свою «Книгу всякой всячины» (Соч., 10 изд., VII, стр. 874–875), и, наконец, — отдельные образцы староукраинской вертепной драмы, бытовавшей в украинской провинции вплоть до 30-х годов XIX в. Последняя в ряде случаев подкрепляла некоторые эпизоды «Истории Русов» новыми иллюстрациями, наглядно демонстрируя (напр., в интермедиях к «Комическому действию» Довгалевского) и запрягание хлопков-подданных в ярмо, и отдачу церковей в аренду евреям.

Если «Гетьман» в целом представляет собою опыт исторического романа «вальтер-скоттовского» типа и является зерном для вполне самостоятельной разработки этого типа романа в «Тарасе Бульбе», то в эпизоде о кровавом бандуристе отзываются и некоторые мотивы «неистой школы» — той «новейшей французской школы», о которой пи-

сал в своем отзыве А. В. Никитенко и которая привлекала Гоголя, прежде всего, своей социальной проблематикой.

Мы не знаем в точности причин, заставивших Гоголя оставить начатый роман. Впоследствии, возвратившись к замыслу большой исторической повести, подкрепив этот замысел тщательным изучением наличного исторического и фольклорного материала, Гоголь использовал всё им ранее собранное при работе над «Тарасом Бульбой». Атаман в «Нескольких главах», полковник в отрывке «Мне нужно видеть полковника», отчасти Глечик в «Главе из исторического романа» являются портретными прообразами самого Тараса. Образ старухи-матери Андрия и Остапа возник из намеченного в последней из «Нескольких глав» образа жены казака Пудька, «иссохнувшего, едва живущего существа», «несчастливого остатка человека», «олицетворенного страдания». «Трехъярусный усач», гайдук, стороживший Остапа, напоминает предводителя польского отряда в «Кровавом бандуристе», усы которого описываются Гоголем так же тщательно, как и в «Тарасе Буль-

бе». Наоборот, сцена расправы с евреями, едва намеченная в «Гетьмане», позднее в «Тарасе Бульбе» развита в значительный эпизод. Встреча Острианицы со старым казаком Пудьком и взаимные расспросы о соратниках также повторены в «Тарасе Бульбе» (приезд Бульбы на Сечь). Отдельные моменты «Гетьмана» отразились и в некоторых других произведениях Гоголя, в совершенно ином, иногда неожиданном контексте. Так, «черный голос, который слышит человек перед смертью», является в «Старосветских помещиках», а поговорка-ругательство усача: «те-рем-те-те», вкладывается Гоголем в уста Утешительного-Швохнева («Игроки», явление XVIII).

НОЧИ НА ВИЛЛЕ

I. ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА.

Автограф Пушкинского Дома (Института Литературы) Академий Наук СССР.

II.

Отрывок «Ночи на вилле» в первый раз напечатан Кулишом, в первом томе «Записок о жизни Гоголя» (стр. 227–230), по тому же, вероятно, (единственному) автографу, которым располагаем сейчас и мы. Автограф из собрания Ефремова (куда поступил от Погодина) — на двух листках желтовато-белой почтовой бумаги in 8°, без знаков, четким почерком. «Гоголь вел» — читаем в «Записках» — «род дневника, которого сохранилось две осьмушки. Существовало ли продолжение — неизвестно; но в этих листках недостает середины, как видно из того, что на одном листке написано: „Ночь 1-ая“, а на другом: „Ночь 8-ая“». В этом описании лишь под один признак не подойдет наша рукопись Пушкинского Дома: заголовка «Ночь 1-ая» в ней не находим (см. выше факсимиле). Не во всем соответствует ей

и самый текст «Ночей», как он дан Кулишом: кроме подновления орфографии и языка, есть у Кулиша и более разительные отклонения от сохранившегося подлинника: вм. «сокровищей» — «сокровищ»; вм. «называемых» — «названных»; вм. «за стеклами» — «по стеклам»; вм. «томление скуки выражалось» — «томление, скука выражались» вм. «мгновенья» — «мановенья»; вм. «целыми десятками» — «целым десятком»; сделан, наконец, и один явно цензурный пропуск, — отсутствуют слова: «что сыплется от могущего скиптра полночного царя». Прочие отступления от гоголевского автографа проще всего объяснять небрежностью; лишь заголовок «Ночь 1-ая» дает, может быть, право заподозрить, не пользовался ли Кулиш другой рукописью, — черновиком сохранившейся, — что объяснило бы и наличие у него ошибочных чтений. Заголовок «Ночь 1-ая» сохранил, впрочем, и Тихонравов, уже несомненно располагавший нашей рукописью. — См. Соч. Гоголя, 10 изд., т. V, стр. 530, 673. — При бесспорном тождестве «листочков», которыми располагал Тихонравов, с нашим автографом, совершен-

но необъяснимо иначе как небрежностью наличие у него не только заголовка «Ночь первая», но и нескольких ошибочных чтений Кулиша, из числа приведенных выше («целым десятком», «названных» и др.). Ошибки эти из 10 изд. (Тихонравова) перешли в следовавшие за ним другие, и таким образом подлинный гоголевский текст отрывка в данном издании воспроизводится впервые.

III.

«Род дневника», по определению Кулиша, «Ночи на вилле» насквозь автобиографичны: под «виллой» подразумевается римская загородная вилла княг. З. Волконской, где в апреле—мае 1839 г. умирал от чахотки двадцатитрехлетний граф Иосиф Михайлович Вьельгорский, незадолго перед тем прибывший в Рим, в свите наследника (будущего Александра II), вместе с Алексеем Толстым и Жуковским. Иосиф Вьельгорский, сын известного музыкального деятеля и мецената Михаила Юрьевича Вьельгорского, и есть то лицо, о котором, не называя его по имени, говорят «Ночи на вилле». Его умирание, привлекательный характер и предсмертная дружба с

ухаживавшим за ним Гоголем нашли себе отклик как в мемуарной литературе, так и в эпистолярной, — в письмах, в том числе, самого Гоголя: см. «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник М. Погодина», ч. II, М., 1844, стр. 29, 52; «Русский Архив» 1890, кн. 19, стр. 229; письма Гоголя в мае—июне 1839 г. Погодину, Шевыреву, Балабиной и др. — В первых числах июня Вьельгорский умер; 5-м июня датировано последнее из посвященных ему писем Гоголя (к А. С. Данилевскому).

Близость указанных эпистолярных отрывков к отрывку «Ночи на вилле» заставляет относить возникновение «Ночей» к тому же периоду времени, что и самые письма, — с одной, впрочем, оговоркой: отрывок написан, несомненно, после смерти Вьельгорского, а не в период бдений Гоголя над больным, как полагали Кулиш и Тихонравов. Что в отрывке речь идет об умершем уж человеке, явствует из неизменно повторяющегося всюду прошедшего времени, из частого употребления таких слов, как: «тогда», «доныне» («Его слова были тогда»; «Что бы я дал тогда»; «Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова»),

из элегически-мемуарного, наконец, тона некоторых описаний, который, при хронологической близости описываемого, понятен лишь по отношению к умершему. Датировка «Ночей на вилле», предложенная Кулишом («во время болезни графа Иосифа Вьельгорского») и принятая Тихонравовым («в конце мая 1839 года») нуждается поэтому в исправлении: «Ночи» написаны не раньше смерти Вьельгорского, т. е. не раньше первых чисел июня 1839 года. Они имеют таким образом характер не дневника (как думали Кулиш и Тихонравов), а скорее мемуаров. Отсюда — и некоторая литературность отрывка, расчет на впечатление читателя. В избранный круг читателей, на которых рассчитаны были (только в виде, разумеется, рукописи) «Ночи», могли входить, в первую очередь, родители покойного, особенно — мать, не присутствовавшая (как и отец) при кончине сына и нуждавшаяся поэтому в каком-то рассказе о ней. Роль вестника взял на себя как раз Гоголь: он выехал навстречу графине Л. К. Вьельгорской и первый объявил ей о смерти сына. В этот период посредничества между умершим дру-

гом и его родителями, когда Гоголю, несомненно, приходилось и припоминать и пересказывать много раз мельчайшие подробности об умершем, он и мог попытаться облечь свой рассказ в литературную форму.

Кроме родителей, этого могли ожидать от него друзья умершего, а в числе их — Жуковский, в Рим прибывший одновременно с Вьельгорским, при его смерти однако же не присутствовавший (из-за отъезда с наследником в Неаполь). Общением с Жуковским в Риме, в январе—феврале 1839 г., могла быть подсказана Гоголю самая форма «Ночей» — форма поэтической эпитафии. Не говоря уже о стихотворных опытах Жуковского в этом юнговском жанре, к моменту встречи его с Гоголем в Риме относится его выступление также в роли друга-некролога. Имеем в виду известное письмо Жуковского к отцу Пушкина. Не зная его в 1839-м году Гоголь, конечно, не мог. При встрече с Жуковским в Риме «первое имя, произнесенное нами», писал Гоголь, «было — Пушкин». И отзвук рассказов Жуковского о кончине Пушкина слышится уже прямо в майских письмах Гоголя, где идет речь о

Вьельгорском. Сближая преждевременную смерть Вьельгорского с смертью Пушкина, свои личные впечатления и чувства — с чувствами, которыми успел с ним поделиться при встрече Жуковский, Гоголь и самую мысль написать некролог мог позаимствовать у Жуковского же.

Однако, «Ночи на вилле» не были доведены до конца. Это не уменьшает их значения для биографии Гоголя. Замечательно, что ощущение возврата уходящей молодости в эпизоде, нашедшем себе отражение в «Ночах», явилось для Гоголя как бы лишь ответом на соответствующий с его стороны запрос: еще в феврале 1839 г., т. е. до сближения с Вьельгорским, Гоголь писал Данилевскому о том же самом — и о «деревянеющих силах» старящейся души, и о боязни, «чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась наконец в такую толщу, сквозь которую в самом деле никак нельзя будет пробиться» ни «живым впечатлениям» юности, ни «прежним чувствам». Испытав затем желанное «дуновение молодости», но в трагическом контрасте со смертью, Гоголь заканчивает некро-

логический свой отрывок эпитафией этой самой, своей собственной молодости; и хоть и обрывает ее тут на полуслове, но впоследствии не раз возвращается к ней в лирических отступлениях «Мертвых душ».